

## МАРИЯ ЦЕННСТРЁМ

### Я хочу вернуть все ушедшее время!

Перевод с шведского ДМИТРИЯ ПЛАКСА

19 ноября

Читаю бабушкины, дедушкины и мамины письма, написанные во время блокады Ленинграда. Читаю в разных вариантах: переписанные, более отредактированные, менее... Вчера меня охватило волнение, жажда. Что-то есть в этой безмерной любви деда к семье. Мне кажется, я понимаю — это она поддерживает его в борьбе с холодом, голодом, воздушными тревогами, там, в квартире, в осажденном Ленинграде. Весь свой выходной он проводит в поисках мяча, чтобы послать его Инге (моей маленькой тете). Он посылает сахар, сладости; телеграфирует деньги, которые, впрочем, далеко не всегда доходят. Описания большой, в октябре очень холодной, квартиры на Петроградской стороне, где он живет в паре комнат вместе с другими родственниками, пытаюсь поддерживать тот же порядок — как тогда, когда вся семья была в сборе. Он часто

приносит домой букеты, описывает дом в письмах, рассказывает об овчарке Дельте и кошке Пушке: что они делают, как себя чувствуют (всегда хорошо). Письма и жизнь кажутся полными порядка, смысла, тоски друг по другу — через расстояния. И практических деталей: денег, описаний еды, фантазий на тему того, что они будут есть и пить, когда наконец встретятся. Я хочу жить такой семейной жизнью, полной жизнью, где работа и деньги имеют такой смысл.

Я хотела бы прочитать эти письма маме. Может, она бы вспомнила больше, рассказала еще. Она опять в больнице. В общем, спокойна. Не накрашенная, с маленькими усталыми глазами, она заваливается влево даже когда лежит в постели.

Мне поздно иметь детей. Моя жизнь совсем не такая.

Читаю, как дед пишет о еде, как он жалеет, что до войны не ел кашу, и чувствую голод, необходимость перекусить. “Жалею, что мы так много пропустили до войны, — пишет он, — так много надменно не замечали”. Мы, мы, мы. Это “мы-чувство”, принадлежность, единение с кем-то, бы-

© MARIA ZENNSTRÖM, 2018

© Дмитрий Плакс. Перевод, 2018

Статья публикуется с любезного разрешения автора.

ло у меня с Сашей. У нас должны были быть дети, семья.

22 ноября

Боюсь, что мама при смерти. У нее слабый голос. “Я тебя плохо слышу”, — говорю я в трубку. “Я плохо говорю”, — отвечает она. Молюсь, чтобы она поправилась. Собралась с силами, чтобы у нас еще было время вдвоем, чтобы я знала, как им воспользоваться. Но как? Я хочу вернуть назад все ушедшее время! Десятилетия, желательно несколько. Хочу повернуть время вспять, на двадцать лет. Поселиться в Петербурге, пройти по ее следам. Но как? Она же оттуда уехала, относилась к городу сдержанно, без ностальгии, тоски, только иногда — некоторая гордость за балет или “сокровищницу искусств” и за семью, конечно, за деда. Все эти истории о доме, раздражающе манипулятивные, размывающие границы правды. Дед был “аристократичен”, почти дворянин, с каждым годом все более и более “почти дворянин”. Я больше не слушаю, не люблю этих историй, не верю им. В ее рассказах мой брат всегда был “похож” на деда. Мне легче принять письма, которые она писала в молодости, из эвакуации. Тогда тоже все вращалось вокруг деда: что бы он сказал, сделал, как бы себя повел.

Ночью мне снился Пер, мой брат. Он сейчас в Стокгольме, мы договорились пообедать сегодня, и я нервничаю. Сон был яркий. Мама воспитывала во мне любовь к брату, и я люблю, несмотря на то что часто злюсь на него. Он не справляется с семейной жиз-

нью, почти не зарабатывает денег фотографированием, не получает заказов. Я благодарна ему за то, что он приехал, что навещает маму в больнице, прогуливается с ней по коридору, с ходунками на колесах. Боюсь, что наши отношения закончатся полной враждебностью, когда она умрет. Как у Инги с мамой.

26 ноября

Читаю папины тексты сорок первого—сорок третьего годов. Он писал в антифашистском журнале “Kulturfront”. Юношеские, запальчивые статьи, иронизирующие над эстетикой нацистского искусства и правым крылом шведской социал-демократии. Смешной текст об английском пропагандистском фильме “Миссис Минивер” — похоже, невероятно популярном в Швеции времен Второй мировой. Фильм о симпатичной английской семье среднего класса, несмотря на войну сохраняющей хорошее настроение, порядок в саду и чувство юмора. Папа пишет: “Да, добрый, уютный английский юмор триумфально побеждает неимоверно преувеличенные усилия всех этих сверхамбициозных улучшателей мира. Русские прекрасно сражаются под Сталинградом, с чего бы нам терять чувство юмора!”

А вот мамины тексты, написанные в те же годы, во время эвакуации. Ей было шестнадцать. Ее записки — о парнях и девочках из ее группы; в маленьком городке на Урале, где они живут, их поселили в чем-то вроде актового зала, перегордив его занавеской. Она

пишет о флирте, “плохих” учителей (категоричный взгляд подростка — дочери уважаемого ученого), но и о том, как она волнуется — из осажденного Ленинграда, от бабушки нет писем уже четыре месяца. Поэтому что, как выяснилось позднее, он чуть не умер от недоедания.

Как мне ко всему этому подойти? Мама и папа встретились в пятидесятых, в Москве. Пару дней назад она неожиданно сказала мне: “Я думаю, они послали его в Москву умирать. — Она имела в виду папин тяжелый алкоголизм, а ‘они’ — это шведская компартия. — Думаю, я спасла ему жизнь”, — добавила она.

Женщины моей семьи были нацелены на спасение жизней. По-настоящему. Мама бабушки спасла ему жизнь: в блокадный голод она вываривала какой-то съедобный клей из старых ремней, заваривала чай из сосновых иголок против цинги, и бог знает что еще.

28 ноября

Сегодня я опять спала нормально. Это подарок свыше. Мыслями я в Ленинграде сорок второго, у деда, который встал на ноги после болезни и слабости и радуется возможности работать. Он пишет, что повсюду в городе люди разбивают грядки. Ему пришла посылка с мелким луком от эвакуированной в Пермь семьи. Он отвечает, пишет, как он одет: в полотняную вышитую рубаху (красно-голубую) и бархатную куртку, что он каждый день режет или крошит в суп одну луковицу, что его ма-

ма оправилась от цинги (благодаря луку?), он оплакивает мужа сестры, умершего от истощения по дороге из Ленинграда в Пермь, к жене (дедушкиной сестре). Во всех письмах к бабушке дед оправдывается, объясняет свое решение остаться в городе, не ехать в эвакуацию, описывает работу в Пушкинском доме, где сотрудники дежурят, спят в помещении под немецкими бомбежками, меняясь каждую третью ночь; но теперь, летом сорок второго, он, наконец, может вновь заняться “настоящей”, научной, работой. Он руководит институтом, спасается работой от тоски по семье. Рассказывает, что трамваи снова ходят, кошка грязная, а он ест два раза в неделю в столовой для номенклатуры (Союза писателей), где не надо отдавать талоны на еду, с гордостью рассказывает семье о двух июньских литературных торжествах, в подготовке которых он принимает участие и где будет выступать: праздновании дня рождения Пушкина и дня смерти Горького (Максим Г. умер за шесть лет до того). Дед подсчитывает, сколько займет дорога до Дома радио (трамваи ходят редко), поскольку в день празднования он приглашен еще и на радиоконференцию. В письме дочкам он рассказывает, что зал, где пройдет торжественный вечер, уберут полевыми цветами и зеленью. Мне интересна внешняя сторона событий, я хочу видеть детали, фотографии того времени, знать, как выглядела квартира — где фотографии кошки и собаки, где сама квар-

тира? Кто там сейчас живет? Он пишет, что окна распахнуты, в июне еще нет мух и это странно; после пережитого зимой голода его мама стала говорить о еде в уменьшительно-ласкательной форме: “кашка”, “супчик”...

Я хочу сохранить что-то, воссоздать. Может, потому что мама и Инга уходят? Особенно мама. Я вижу, что в любой момент у нее может случиться новый инсульт, ее голова выглядит фарфоровой, хрупкой.

Дед пишет семье, как любовнице. Написание писем — занятие праздничное: он сидит у круглого стола, ест лепешки, испеченные в Перми и присланные ему семьей, в квартире живут родственники и его мама тоже. Они все делают вместе. Едят лук и лепешки. Электричества вот только пока не дали.

В Стокгольме, в то же время, папа пишет в газету “Stormklockan”, нападает на социал-демократов и высокопоставленных военных, не знающих какую сторону в войне выбрать. Ему только двадцать два-двадцать три года. Он пишет о некоем полковнике Братте, неустанно строчащем о “призраке коммунизма”, в то время как Советский Союз несет самый тяжкий груз в борьбе против Гитлера. Дед и папа пишут одновременно, каждый со своей стороны, в своей перспективе, об англо-русско-американском сотрудничестве против фашистов. Дед читает в одном из писем целую лекцию бабушке — сотрудничество коренным образом изменило ситуацию и победа

близка, бабушка должна прекратить просить его согласиться на эвакуацию из Ленинграда.

*3 декабря*

Медленно, преодолевая сопротивление, погружаюсь в папины тексты. Те, что я читаю сейчас, написаны в сорок третьем. Он живет — это важно — в мирной Швеции. Вступает, в качестве критика, в полемику с одним из своих кумиров — Нексё; речь о книге американского писателя Райта, которую Нексё и некоторые другие старые коммунисты называют “извращенным прославлением насилия”. Папа выглядит менее догматичным, более свободным в своем взгляде на книгу, на искусство. В то же самое время, в военном Ленинграде, мой дед занят изучением и прославлением Пушкина, его юбилеем. Слушает концерты классической музыки по радио. Поскольку все остальное зыбко. В квартире нет воды. Он отвечает маме, которая прислала свое фото с припиской о том, что на самом деле она совсем не такая худая и серьезная, а, наоборот, все время смеется. “Это хорошо, — пишет он, — что ты оптимистична, я тоже пытаюсь поддерживать хорошее настроение”. Я снова бегло думаю о том, что мы живем в мире и поэтому ответственны за глубину и смелость мышления, за анализ, потому что тем, кто живет на войне, не хватает для этого сил. В шторм главное не упасть, устоять. Покой и защищенность — это дар, переданный нам в управление теми, кто живет

на войне. Гимназисткой я была, наверное, более “папиной дочкой” – активисткой с радикальными взглядами по различным вопросам, которые обсуждались в классе. Потом тоже, в разных группах, собраниях. Наверное, немного и в журнале “Kritiker”, но сдержано. Публицистика выматывает. Надо ввязываться в бой, формулировать политические взгляды. Про себя я думаю, что политическая определенность дает более низкий статус, чем художественность.

Дед “журит” бабушку в письмах за то, что она сомневается, возвращаться ли ей с дочерьми в Ленинград.

#### *4 декабря*

Обыкновенно я сплю хорошо, если нет ничего необычного, типа поездок или каких-то особо ответственных дел. Снег чем-то приятен. Мама более-менее, день на день не приходится.

Дневник мамы, сорок второй, интернат в Краснокамске, близ теперешней Перми. Далеко на востоке России. Ей шестнадцать, и она враждует со многими, особенно девочками. Инга и бабушка жили в деревне, в паре часов ходьбы. Молодежь была предоставлена самой себе, а источником мамино чувства одиночества, видимо, были интриги и сплетни. Статус девчат мама определяет по внешности и разумности. Беспомощно жаль того, кто некрасив. У нее есть друзья среди парней, в некоторых она влюблена. А еще она хочет вступить в комсомол, чтобы “больше помогать своей Родине”, как она пишет.

Она счастлива получать письма от бабушки из Ленинграда, ей он пишет чаще, чем другим членам семьи, и, после того как он оправился от тяжелого истощения, новости только хорошие. Я впечатлена ее добротой, это нечто новое для меня, я чувствую и хочу чувствовать симпатию к ней. Интересно, когда началась ложь.

#### *5 декабря*

Утро воскресенья. Спала до начала девятого. Снилось, что Тумас поранился, порезал ступни. Что это значит? Сегодня мы идем на терапевтическую “двенадцатишаговую” встречу для пар, но решение проблем нашей совместной жизни, кажется, очень далеко.

Читаю папу. Он пишет о сопротивлении в Дании, Норвегии, Франции. Сорок четвертый год. Газета “Kulturfront”, первый номер этого года. Статья целиком политическая. В ней ни слова о литературе или искусстве. Интересно, кто из шведских писателей/критиков осмелился бы написать нечто подобное сегодня. Сара Лидман в свое время осмелилась. Может быть, многие писатели так делали в семидесятые.

Мама и Инга, когда они говорят о бабушке и бабушке... В прошлый раз Инга сказала по телефону: “Они были хорошей парой”. Раньше она говорила: “Это был крайне несчастливый брак”. Читая письма, я думаю, что это был счастливый брак во время войны, и несчастливый после. Так же как мама, которая ненавидела папу (прежде всего, его алкоголизм) и воевала с ним все

мое детство, а потом, когда он заболел раком, помирилась с ним, проявила невероятную солидарность. Она опять стала его женой и теперь говорит, что они всегда любили друг друга. Что он был так “чист”. Я спрашиваю, что она имеет в виду, ведь папа пил, изменял ей, в запойные периоды часто лежал в своих собственных нечистотах, буквально. Но “чистый” — одно из любимых маминых слов, лучшее человеческое качество.

Потом думаю о папиных текстах, резкости формулировок, о том, что он не лебезил перед истеблишментом, не старался быть удобным. Не молчал из страха не получить стипендию или признание буржуазного общества. Может, мамина влюбленность в слово “чистый” идет от восхищения дедом, который не хотел покидать Ленинград, чуть презрительно писал о тех, кто эвакуировался, чтоб спасти свою шкуру? Дед спорил с бабушкой, просящей его приехать к ним, чтобы выжить. Бросить квартиру, картины, книги — то, что было так важно ему.

*6 декабря*

Бабушка обеспечивала выживание семьи. В эвакуации она завела поросенка, выкармливала его; с утра до вечера работала бухгалтером в колхозе, хотя экономического образования у нее не было, и она совершенно не знала, как и что делать — параллельно с работой читала руководство по бухгалтерскому учету. Думаю, мама каким-то образом унаследовала ее практичность. Когда

я была маленькая, мама говорила о бабушке с презрением. Актриса, из которой ничего не вышло, преподавательница сценической речи. Но письма озарены более всего именно бабушкиным сиянием. Дед был семейным солнцем — стал профессором, читал пользующиеся популярностью лекции. Но он бы не справился без того, что делала бабушка для семьи. Она ходила по начальникам, хлопотала о его карьере, она заботилась о его слабом здоровье, она поставила на их совместную жизнь все. Об этом мама не упоминает.

Тумас и я сходили на “двенадцатишаговую” встречу. Меня раздражает манера мужчин говорить без перерыва, оккупировать все пространство, превращать присутствующих в зрителей, занимать все отпущенное время. Женщины скромнее и говорят короче. Они говорят об отношениях, в то время как мужчины — о себе самих, своем жизненном пути, своей “карьере” в “Программе двенадцати шагов”; они выставляют себя в выгодном свете, хвастаясь “пониманием того, как они плохи”, своим смирением. Мне кажется, одна их самых больших несправедливостей в русской части моей семьи — возвышение мужчин. То, что они важнее, красивей, что мы, женщины, должны им служить. Моего брата Пера сравнивали с дедом, что само по себе означало высокий статус, его называли красивым, аккуратным, педантичным “просто как дедушка”. Я хочу отдать должное бабушке. Может, и маму поднять в моих собственных глазах.

8 декабря

Бабушка, как я ее помню, лежала в кровати, в Ленинграде, и говорила со мной по-французски. Мне было восемнадцать или девятнадцать, и мне было страшно от ее возраста, пышности, телесности там, в кровати, от ее запаха. Нафталин? Ее большое лицо. Ей больше восьмидесяти пяти, но она очень телесна. Маленькая, с большим лицом.

Читаю отрывки из ее ленинградского дневника двадцатого-двадцать первого годов. Ей, думаю, лет двадцать. Она мечтает о любви, влюблена в коллег, хочет замуж. Дневник полон фантазий о любовных свиданиях, о том, какой она будет женой: во-первых, ответственной на работе, во-вторых — игривой дома, “полной озорства, — пишет она, — к чему у меня такой талант”. Иногда нападки на саму себя: она плохая, ничемная, просто мусор; длинное юношеское рассуждение о том, что страдание улучшает: “даже волосы мои, — пишет она, — завиваются лучше и становятся красивее с каждой минутой страдания в этом году”. Самобичевание мне знакомо по дневнику мамы. (“Почему я так глупа, ничего не понимаю, голова не работает?”)

Мамин голос в трубке звучит хрипло, будто она простужена. Это возраст, усталость. Болезнь. Я советую ей больше лежать, отдыхать. Лежать в постели целый день, раз в неделю. Она говорит, что это хорошая идея, но совету не следует.

Когда я читаю папины тексты, мне становится неловко из-за их “старомодности”, сейчас “не модно” говорить о Мар-

ксе и Ленине, об американском империализме. Вместе с тем, я считаю, что разговор об американском империализме так же актуален, как и всегда.

9 декабря

Читаю папин текст о поездках Нексё в Испанию в начале века. Папа превозносит описания прекапиталистической Севильи, табачниц и т. д. Совсем другая Европа, иной мир. Он кажется таким понятным и простым. И то, что описывает папа, и общество, в котором он жил и работал. Люди читали газеты, все имело понятные границы.

Его энтузиазм, когда он пишет о Нексё. Папа хочет, чтобы все было взаимосвязано, объяснимо; безусловные герои должны существовать, как и возможность говорить о хорошем народе, добром писателе. Я узнаю себя, свой пафос, я могла бы писать подобным образом. Но сегодня это немного стыдно. Другое время.

13 декабря

Моя подруга, гениальная Ирина С., прислала мне научную статью о писательнице Лидии Гинзбург и ее текстах о блокаде Ленинграда. Ирина пишет о том, как голод влияет на работу интеллектуала, пишущего человека. Спрашиваю себя, каким образом голод повлиял на дедушку и бабушку. Болезненная зависимость от еды, переедание, свойственное моей семье, уж точно не стало лучше.

14 декабря

Читаю Лидию Гинзбург. “Записки блокадного челове-

ка”. Она пишет о голоде. Как весь день вращается вокруг еды. Обед, поход за едой занимает целый день. Мой двоюродный брат задается в своих комментариях к дедушкиным письмам вопросом: что заставляло его писать семье так, будто Ленинград не бомбили, не обстреливали? Сергей, кажется, думает, что дело в некоей внутренней силе, возвышенности, но я больше доверяю Гинзбург — всех занимал голод. Когда идешь... нет, когда бежишь или ползешь — ничего среднего, похоже, не было — в столовую, воздушная тревога воспринимается как препятствие по дороге к еде, милиционеры, направляющие в укрытие, вызывают злость.

Гинзбург описывает беспорядок в комнате. Нет сил перевесить вечером пиджак со стула. Убрать блюдо с окурками. Гора одежды, под которой спишь, тяжелой, удушливой и безнадежной, потому что нужно еще удержать ее на теле, балансируя одной ногой, чтоб вся эта безнадега не сползла с тебя на пол.

Но дед прибирался, как я понимаю, все время. Боролся с хаосом. И писал семье: все тут точно так, как перед вашим отъездом. Мама убирала без любви, когда я была маленькой, обустроивала жилье без любви; я сравниваю с папиной сестрой Эльзе-Мари (которая не знала войны). Сейчас маму радует социальная служба помощи по дому, она рада, что в квартире убрано, вокруг порядок, что она “не живет на мусорке”, как она выражается. И бабушкины дневники пятидесятых, кото-

рые я читала вчера — о том, как дед выговаривал ей, если в доме было неприбрано, и как она от этого чувствовала себя мелкобуржуазной неряхой.

Возможно, мама унаследовала от деда этот страх перед беспорядком и эту осуждающую манеру.

*15 декабря*

Что такой человек, как я, может написать о войне? Все, в определенном смысле, вторично. Вместе с тем война ощущается и в Стокгольме, в эти дни, в связи с терактом.

*17 декабря*

Мне не хватает разговоров с М., как с редактором. Война и мир — сложная тема. Как об этом писать, сегодня, в Швеции? Сидя в относительно спокойном Стокгольме. Утром начала читать “Войну и мир”. Лидия Гинзбург пишет, что в осажденном Ленинграде люди читали Толстого, чтобы понять войну. А я читаю, как Гинзбург описывает существование в осажденном городе. Какие чувства вызывали трамваи, вновь пущенные, хоть и нерегулярно. Какое это было наслаждение, масса чувств. Темы разговоров в подъезде во время воздушных тревог. Квартирный вопрос. О чем говорят две женщины у портнихи: тоскуют по легкомысленной жизни, обсуждают легкую лисью ротонду, для женщины, у которой руки не заняты узлами или корзинами. “Война и мир” начинается сценой приема в высшем обществе, где близкая к коридорам власти старая дева (сорокалетняя!) предлагает гостям поговорить о политике, но не



слишком вдаваясь. Я думаю о том “салоне”, куда меня приглашают раз в год, у Дисы, — он чем-то похож на прием у Анны Павловны Шерер в том смысле, что тут тоже собирается элита: политики, интеллектуалы, дипломаты, многие журналисты, люди при власти. Диса с удовольствием обсуждает с некоторыми, наделенными властью, гостями — министрами, дипломатами — определенные детали тоном “инсайдера”. Связи (в том числе родственные!) и дружелюбие очень важны. Важен успех. Думаю, Диса приняла бы отличное мнение и аргументацию (скажем, сомнение в политике правительства) от человека из, в ее глазах, достаточно “хорошей” семьи.

*20 декабря*

Ночь с мамой в отделении неотложной помощи. Я заглянула к ней вчера, принесла рагу с горохом и нашла ее сидящей у стола. Есть она не могла, не могла поднести ложку ко рту правой рукой, единственной работающей. Я помогла ей, но, пока кормила, поняла, что она чувствует себя намного хуже, что-то случилось.

“Сначала я кормила Пера, потом тебя, а теперь ты кормишь меня”, — сказала она. Я ничего не имела против того, чтобы покормить ее, наоборот, но что это, новый инсульт? Она просто пытается сделать вид, что все нормально, потому что не хочет в больницу? Я тоже не хотела, чтобы она снова попала в больницу, но что мне было делать? Ко всему она выглядела еще и слегка растерянной —

решила, что мой брат с сыном только что были в Стокгольме и жили у нее.

Она сидит в инвалидном кресле и пробует навести порядок в кухне. Достать банку, чтобы переложить еду; она не может даже поднять стакан, наклоняет его на столе, чтобы попить. Ее руки неуклюжи, как крючья, неподвижны, глухи. От бессилия я позвонила Тумасу. Я не хочу, чтоб ее снова мучили в отделении скорой, но как принять на себя ответственность за решение не ехать туда? Ее лицо все худеет, заостряется. Череп проступает сквозь кожу, особенно на скулах, а глаза западают все глубже. Как две тусклые, черные, повернутые внутрь, точки. Она сидит, откинувшись на спинку кресла, бессильно отталкивается ногой от пола, продвигается на пять сантиметров вперед, просит меня подать стеклянную крышку.

В больнице я укутываю ее в плед, она такая тонкая, маленькая, уже как бы почти мертвая, не занимает места на каталке, острый профиль; поворачивается ко мне с Тумасом, хочет участвовать в разговоре, говорить о литературе, шутить. Санитары кареты скорой помощи бегут с ней на каталке по снегу, бегут, чтобы колеса каталки не застряли в сугробах, она кричит: “Посмотрите вверх! Вверх!”. — “Что ты хотела?”, — спрашиваю я уже у машины. “Я хотела, чтобы они видели цифры на фасаде, когда построен наш дом”, — отвечает она, гордая тем, что дом такой старый.

Я чувствую нежность по отношению к ней, или это толь-

ко зависимость? Я бы хотела переехать к ней, кормить ее, готовить ей, помогать во всем. Она слаба и беспомощна, но при этом неплохо командует. “Тумас, моя обувь, — приказывает она, когда мы все же собрались ехать. — Джинсы. Каучук (резиновая штука, которую она носит между пальцев ног), на прикроватном столике, это очень важно”.

Она требует, чтобы ее одели, хотя понятно, что ее разденут сразу же по приезде, в смотровой. Санитары скорой помощи ждут. “Подождут”, — говорит она мне.

Я хочу просто держать ее за руку, поставить все остальное на паузу. После полуночи, когда маму осмотрел доктор и было решено перевести ее в отделение стационара, мы с Тумасом уходим. Всю дорогу от больницы до дома я спрашиваю его, правильно ли я поступила. Может, надо было остаться? Я знаю, возможно, мне пришлось бы сидеть там долгие часы, ожидая, когда ее перевезут в палату. Она лежит, во всяком случае, может вздремнуть. Все равно. Нельзя никого оставлять в приемном отделении.

Дома хаос. Гора нераспечатанной почты. Стираное белье, которое нужно разобрать. Я не успеваю ходить в магазин, посылать счета, чувствую себя беспомощной, опоздавшей везде. Не нахожу нужных бумаг. Вчера за столом мама вспоминала время, когда папа был при смерти. Как она навещала его перед работой, после работы и в обед. Ночевала там несколько ночей в неделю, чтобы делать ему обезболи-

вающие уколы. Зачем ей это было нужно? Просто не было сомнения — должна. Она так воспитана. “Наш развод... — говорит она. — Мы любили друг друга, всегда”. Когда она говорит о своей помощи папе, это звучит как подведение итогов. Самое важное из того, что она сделала; где по-настоящему что-то значила. Ей важно это показать. “Между нами всегда была любовь, — говорит она. — Другой любви я не знаю.” Я напоминаю ей катастрофические подробности его визитов к нам; как они ругались в большой комнате, пока он напивался, опорожня принесенную с собой бутылку спиртного. Какая ужасная атмосфера царил в доме. “Разве? — говорит она. — Я не помню...”

*21 декабря*

Читаю папину политическую автобиографию, “Откровения Ц.”. Глава о его политическом пробуждении в социалистической организации “Clarté” и “Молодом фронте” — организации студенческой, не связанной с партийной политикой, но радикальной и антифашистской, где будущие социал-демократы и левые встречались и, как видно, вели горячие дискуссии. Они приглашали разных гостей, к примеру, испанских добровольцев; они обсуждали кино и выставки, многие писатели и художники были если не в центре дискуссии, то, во всяком случае, приходили на эти встречи. Артур Лундквист, Карин Бойе и Стиг Дагерман. Папа учился в частной гимназии, общался, соответственно, с детьми “элиты” того вре-

мени — архитекторов, критиков; его семья была богатой, переехала из виллы в Ольстене в шестикомнатную квартиру на Норр-Мэлларстранд. Думаю, папа чувствовал себя уверенно в своей среде. Он рассказывает о тридцать седьмом, о столкновениях с молодежными организациями нацистского толка, которые пытаются сорвать встречи Clarté и протестуют против зарубежных профессоров в высшей школе. Да и солидные представители истеблишмента пишут в газеты: “Каждый иностранный профессор занимает место шведского”. Но папа пишет и о том, как Национальный музей не стал покупать “Гернику” Пикассо за смешную сумму в тридцать тысяч крон, как один датский “эксперт по искусству” под влиянием социалистического реализма пишет, что эта работа “не имеет политического значения”.

Я пытаюсь углубиться в то, что все это может для меня значить, имеет значить, значит.

22 декабря

Читаю в папиных мемуарах об отношении левой коммунистической партии к Советскому Союзу. Как все, особенно некоторые, цензурировали друг друга. Папа тоже участвовал в написании обращения к Сталину для какого-то партийного съезда в конце сороковых — начале пятидесятых. Как они долго изучали в своих кружках марксизм по книгам об истории советской компартии. Глава заканчивается перечислением компа-

ний и сумм, которые они зарабатывали на Второй мировой. Я бы хотела видеть такие цифры сегодня. Кто зарабатывает реальные деньги на войне в Афганистане? На интенсификации войны против терроризма? На дезинформации?

Кое-где папа скупо пишет о своем алкоголизме, правда, в его изложении это звучит как “подкрепился парой рюмок и споткнулся о порог банкетного зала” или “временно отключился из-за перенапряжения” и получил поэтому возможность отдохнуть на одном из советских курортов (его первая поездка в Советский Союз).

Вчера, в больнице, мама сказала, что думает о том, почему бабушка и дедушка избежали сталинских репрессий. Чистки же шли и в блокаду. Она выглядит лучше, чем дома, потому что жизнь в больнице легче. Она просто сидит в кровати. Ей помогают, готовят еду. Она выглядит довольной тем, что может попросить горячий кисель из шиповника и бутерброд с галетой на вечер. И я радуюсь, когда вижу, что она ест. Хотя у нее не очень получается есть, рука с бутербродом дрожит, она говорит, что не может найти рот. Мне пришлось помочь ей, держать бутерброд.

Мама говорила о бабушке. Сказала, что ее первый муж был выслан и уничтожен Сталиным. Дед был ее вторым мужем и это благодаря ей он выучился и защитился. Думаю, что мама хочет этим сказать. Вспоминаю, что бабушка пишет в дневниках и письмах о том, как ходила по начальству,

хлопотала о деде. Просила, чтобы обратили внимание, поддержали, признали. И какую ревность вызывала в ней его дружба с женщиной — секретарем парткома. Они идут в театр, а бабушка сидит дома и думает о том, что это ведь она сама их свела.

### 23 декабря

Вчера вечером ее тошнило, сказали в больнице. Записываю в свой список страхов: боюсь, что маме станет очень плохо (подтекст: она станет совершенно беспомощной, умирающей, перестанет реагировать). Причина: мне будет казаться, что я недостаточно сделала, что можно было сделать что-то еще. Буду чувствовать себя виноватой. Мечтаю сделать ее жизнь счастливой, чтобы она жила со мной и Тумасом в большой, уютной, чистой квартире, чтобы там были дети, вкусная еда, которую бы она с аппетитом ела, чтобы к нам приходили гости. Все это — попытка повернуть время вспять.

Я не горевала по папе, по ушедшим друзьям. Но эта вот боль в теле, это, как я понимаю, горе. Я люблю маму больше всех на свете, как бы я ни хотела, чтобы было по-другому. Она не заслужила моего постоянного воспевания, но что есть, то есть. Я так воспитана. Я смотрю на себя в зеркало и не хочу видеть. Морщинистая, очкастая, безымянная, седые крашенные волосы. Постаревшая фрейлина королевы. Мама тщательно причесана, аккуратна в одежде, все должно быть в порядке; куда бы она ни пошла — обрамление должно

быть достойным. Она улыбается, дружелюбна с медсестрами. “Помнишь, — говорит она мне, — как мы всегда, за любой мелочью, ходили в шикарный НК? Проще простого — идешь и покупаешь!” Мне становится неловко за нее, как в детстве, когда она при мне начинала играть на публику (в этом случае публика — бедная женщина с другой стороны матерчатой перегородки, страдающая от головокружения и заоблачного давления). “Нет, — говорю я. — Я не помню, чтобы мы всегда ходили в НК”.

Мама прекрасно знала, что значит считать каждую копейку, перелицовывать старую одежду. Дед был сыном буржуа времен экспроприаций, занят созданием и сохранением дома, порядка: с красивыми вещами, картинами, мебелью. Папа вырос в доме относительных нуворишей, у него были привычки сынка богачей: такси, дорогая качественная одежда, ресторан “Oregakällagen”, поездки, крепкие напитки. Полные карманы французской нуги с фруктами. Мама боролась за повышение уровня жизни в новой стране: район проживания, жилье, школы, наши занятия. Она до сих пор этим занимается. Я еще в школу не пошла, а уже знала слова “благородный” и “аристократический”, понимала, что это важные слова. Мама всю свою сознательную жизнь борется за то, чтобы все *выглядело как следует*.

### 24 декабря

Может, все-таки есть возможность достигнуть какого-то внутреннего мира. Я сва-

рила кашу и свеклу. Попробую убраться до обеда. Поговорила вчера немного с соседкой, одинокой женщиной моего возраста. Бездетной. У нее был бойфренд, когда я сюда переехала, но теперь нет. Она начала мне нравиться. В ней есть некая уверенность. След того, что ее любили в детстве.

25 декабря

Маму оставили в больнице, высокое РОЭ. Мы были у нее пару часов вчера вечером. Или чуть более часа, может полтора. Я принесла немного салата из свеклы, но зря, она сказала, что не может есть. Ее мутило, рядом с ней в постели лежал пакет для рвоты, только выпила немного рождественской газировки. Она очень слаба. И мала. В подарок на Рождество она получила биографию Улофа Пальме — мне пришлось помочь ей удержать книгу на весу.

Она говорила через силу. Полистала книги, упомянула Пальме, похвалила стиль Тумаса, повторив какую-то старую тезу о том, как следует одеваться (не как “нувориш”), чтобы выглядеть элегантно. Хотела показать, что благодарна, сказала: “А у меня вот для вас ничего нет”.

Я боюсь, что она умирает. Беременная медсестра, которая отвечала за нее, сказала, что позже они попробуют дать ей немного черничного киселя.

Вечером мне стало больно. Мне подарили несколько DVD-дисков с записью телесериала. Я не смогла его посмотреть, растревожилась от подспудного насилия, декораций, бессмысленно зловещего пей-

зажа. Я помолилась, послала смс нескольким друзьям по двенадцатишаговой программе, молитву о том, чтобы Господь укрепил ее, вернул силы, чтобы она снова смогла есть, хотела есть. “Я поем, когда Пер заберет меня домой”, — сказала она. “К тому времени ты успеешь умереть”, — ответила я про себя.

Я никогда раньше не горевала. А теперь у меня болит все тело. Она моя любовь, любовь всей моей жизни. Я не хочу, чтобы она умирала. Но она умрет, вопрос только в том — когда, и мне нужно больше времени, хотя я и не знаю точно, что мне с ним делать.

Читаю Лидию Гинзбург — о голоде в блокадном Ленинграде. О том, что значило иметь дома семью, жену или сестру, делиться с ними пайком. Есть половину порции каши (на чайном блюде), а остальное переключать в желтую или голубую посудину (из какого материала?) и нести домой. Кто-то соскребает несколько ложек каши в такую посудину в столовой, а кто-то другой ему говорит: “Вы все еще делитесь? Знаете, а я уже не могу”. Двойное чувство или скорее раздвоенное, многожды раздвоенное чувство по отношению к семье, жене, сестре. С которыми надо делиться едой, но это именно они дают ощущение нормальности жизни. Думаю, дед выжил, потому что ему не надо было делиться пайком с женой и дочерьми, но при этом им можно было писать, заботиться о них, планировать встречу, искать подарки. Восемьсот граммов пищевого жира стоили тысячу рублей. Килограмм

крупы — пятьсот или шестьсот рублей. Профессорская зарплата — очень высокая месячная зарплата.

Маме кажется, что ей не надо есть, что ей хорошо не есть, что это ей к лицу. Ей хватило сил указать, куда поставить принесенные нами рождественские декорации, гиацинт в горшке. На подокон-

ник. Нет, не радио, “это слишком”. “Красивое окно”, — отметила она потом. Прежде чем пойти, я по ее просьбе помогла ей навести порядок на тумбочке. Я бы хотела видеть в этом желание жить, чувство жизни. Но я знаю, она хочет, чтобы был порядок, чтобы вокруг нее все было достойно, даже в смерти.

[277]

Ил 9/2018